

Максим Горький

В. И. Ленин



Максим Горький

В. И. Ленин

«Public Domain»

1924

Горький М.

В. И. Ленин / М. Горький — «Public Domain», 1924

«Владимир Ленин умер. Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, „который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность“...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	11
-----------------------------------	----

Максим Горький В. И. Ленин

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало её не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, – нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет – трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как всё, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм – это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убеждённого в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжёлой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нём вскоре после его смерти, – написано в состоянии удручённом, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в mnogой мудрости – много печали».

Далеко вперёд видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19–21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нём написаны, кроме того что плохо, ещё и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда¹, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещённый сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот всё ещё хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри её – полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а – у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало². Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мне руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

– Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

¹ 1907 г. – *Ред.*

² впоследствии Горький вспомнил, что встречался с Лениным в Петербурге в ноябре 1905 г. – *Ред.*

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь – как-то слишком прост, не чувствуется в нём ничего от «вождя». Я – литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда – уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомлённый своими обязанностями учитель ещё на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дёргая другою мою руку, ласково поблёскивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал её в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но – не успел объяснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга – нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала – поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлёк рабочих, подошёл, кажется, Фома Уральский и ещё человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трёх сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полуторасти тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное моё настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие моё сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Всё вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

– Мальцейт.

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит – плохо, немецкое «цейт» – время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво; вино было кислое и тёплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисло-вато и снисходительно, а о своей, немецкой партии – очень хорошо! Вообще – всё было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мягкости вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный её член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20 % со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть – мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии,

в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счёл себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнёсся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов, – говоря по совести, я предпочёл бы, чтоб ему надрали уши. Ещё позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя, – подумалось мне, – дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на всё, – он только что вышел из тюрьмы, – видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера или революция», по словам одной «гэнсом лэди», которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эс-эры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне – ещё в Финляндии – пришёл Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее, – у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство – устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», отнеслись к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и в Америке нашёлся Парвус. Вообще поездка не удалась, но я там написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, – это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозлённые на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадёжное предприятие».

– Всё пропало, – говорили они. – Всё разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но – ничего весёлого. Один гость из России, литератор, и – талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришёл, наговорил молодёжи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я – убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я – «конченный человек» и отрицаю значение балета только потому, что он – «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несётся какая-то гнилая пыль.

И – вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно – праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, – это я знал с 903 года, – а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно – что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово – драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закруглённые фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешёптываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он её ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал её, точно кнопку звонка, – можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнёс:

– Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека: я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

За время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то – съёживаясь, как бы от холода, то – расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

– А по ту сторону – какие сидят?

Коротенький Фёдор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он её родил, воспитал и всё ещё воспитывает. Сам же он, Фёдор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики – недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся – «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

– Вы – не марксисты, – пренебрежительно говорил он, – нет, вы не марксисты! – И толкал в воздух, направо, жёлтым кулаком. Кто-то из рабочих осведомился у него:

– А когда вы опять пойдёте чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а – упрашивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать душу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало её непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжёлое. В конце речи и как будто вне связи её, всё-таки «боевым» тоном, он всё так же пламенно стал кричать против бое-

вых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооружённого восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумлённо воскликнул:

– Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский, спросил:

– Может, нам и руки обрубить, для того чтоб т[оварищ] Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нём только для того, чтоб рассказать, *как* говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

– Вот вам и Мартов! А – «искрист» был!

– Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошёл на кафедру Владимир Ильич, картаво произнёс «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощён» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперёд и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путём, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, – всё это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре – точно произведение классического искусства: всё есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были – их не видно, они также естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счёту времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению – значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

– Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развёртывался сам собою – силою, заключённой в нём.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он – более чем неприятен.

Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлоблённее прерывали его речь.

– Съезд не место для философии!

– Не учите нас, мы – не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

– З-загово-орчики... в з-заговорчики играете! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

– Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже – лежите на нём.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди её. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придаёт Владимиру Ильичу всё новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днём речи его

звучат всё более твёрдо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выпрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

– Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Всё-таки – учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

– Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек – Бебель или ещё кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, – не верится!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.